

АНТОН ЛУКИН

## БЕССОННИЦА

РАССКАЗ

Игнат Ильич Беспризоров вот уже несколько дней как не может нормально уснуть. Навестила его подруга-бессонница, и как бы он ей ни сопротивлялся, как бы ни проклинал ее, безобразницу такую, а ничего поделать не мог. Попал в ее сети, и все тут. С возрастом это что ли пришло, не понять. Только и делаешь, что полночи в потолок смотришь, а под утро вздремнешь немного, как уже вставать пора да за руль. Работал Игнат в колхозе, молоко возил в райцентр. За весь день только и думаешь, как бы где вздремнуть, а домой вернешься, приляжешь, и хоть бы хны. Не хочется спать и все. Да даже не в том дело, что не хочется, оно, конечно, хочется, и сам понимаешь, что спать надо, эдак недолго и здоровье подпортить, а не получается уснуть и все, хоть волком вой. В эти бессонные ночи Игнат частенько раздумывал о жизни, как жил, как живет, как предстоит жить. Каждый раз вспоминается что-то из прошлого и обязательно нехорошее. Мысли большим комом лезут в голову, с трудом перевариваясь. И потому Игнат частенько срывался, бранил самого себя, свою жизнь и нахалку бессонницу, что всего его извела.

Этой ночью Игнат снова не мог уснуть, переворачиваясь с боку на бок. Жена лежала рядом, отвернувшись к стене, и слегка посапывала.

— Ты гляди-ка, зараза, что делается. Нда, так и дураком стать недолго. Ну и дела, — Игнат с отчаяньем вздохнул. — Ох, кошкин ты хвост.

Посмотрел на жену.

— Зин? Ты спишь? — Та тихонько посапывала. — Зин? Ну ты чего, спишь что ли? — слегка толкнул ее локтем. Жена проснулась.

— Что случилось? — повернулась она к нему. — Ты чего?

— Ты спала что ли?

— Чего?

— Разбудил, говорю, что ли?

— Представь себе, — женщина потерла глаза и слегка зевнула. — А ты чего не спишь?

— Поспишь тут с тобой. Храпишь, как паровоз.

— Ну, начинается. Сам уснуть не может, и все кругом виноваты, — Зинаида снова отвернулась к стене.

— Вот ведь что делается-то, а, и ни в одном глазу сна нет. Эх.

Жена молчала.

---

*ЛУКИН Антон Евгеньевич родился в 1985 году в Дивеево Нижегородской области. В 2005 году окончил Ардатовский аграрный техникум по специальности правовед. Автор книг "Волшебная страна", "Голубоглазая", "Судьба солдата", "Самый сильный в школе" и др. Живёт в Нижегородской области.*

— Зин?  
— Ну чего тебе?  
— Как думаешь, может, воды напиться, глядишь, усну?  
— Чай ты не икаешь.  
— Может, поможет.  
— Овечек считай.  
— Каких овечек?  
— Наших в сарае.  
— Чего? — Игнат не понял шутки.  
— Представь, будто они через плетень прыгают. И считай по одной. Говорят, помогает.

— Она тебе овца что, лошадь что ли, через плетень-то прыгать? Хех, — Игнат мотнул головой. — Вот ляпнет не подумавши. Ты хоть подумай, прежде чем сказать. Людей-то не смехи. Овцы через плетень. Ты где овец таких видела? Хех, удумала.

Зинаида повернулась к мужу и посмотрела на него, как обычно смотрят на дурачков.

— Ты как Ванька с соседней улицы.  
— Чего?  
— Чего-чего. Ничего, — Зинаида приподнялась. — Тебе трудно представить что ли? Посчитай овец и уснешь. Люди просто так говорить не будут.  
— Кто же это, интересно, такое говорит?  
— Любка говорила, она в каком-то журнале вычитала.  
— Любка и не такого наплетет, только уши развесь.  
— Ты сестру не трогай. Ему, как лучше, помочь хотят, нет, он еще, воробей, ерепениться будет, — Зинка отвернулась обратно к стене. — Поступай, как знаешь, а меня не буди больше.

Игнат почесал затылок, посмотрел на ходики, вздохнул. Уснешь тут, пожалуй. Он еще раз глянул на жену и, укрывшись одеялом, закрыл глаза. Неужто эти овцы и правда чем помогут? Он даже улыбнулся, но все же представил себе, как они прыгают через плетень, и принялся их считать. Несколько раз он сбивался и, скрипя зубами, начинал заново. Но вдруг, на седьмом десятке уже, под окном раздалось противное мяуканье, и его тут же подхватило несколько громких и столь же противных кошачьих голосов. Игнат даже вздрогнул от неожиданности.

— Тьфу ты, мать вашу, — приподнял он голову. — Распелись тут.

Кошки по-прежнему орали противно под окном, звонко растягивая голосистую глотку.

— Вот окаянные.

Жена тихонько зевнула в подушку и полусонным голосом произнесла:

— Свадьбу, наверное, играют.

— Кто?

— У кошек, говорю, свадьба, наверное.

— Я им сейчас такую свадьбу, пороссятам, устрою. Вот возьму кочергу, выйду, одного-другого огрею под хвост. Будут знать, как орать под окнами.

Кошки по-прежнему нели.

— Нет, ну это невозможно, — Игнат встал с кровати, открыл окно и, что есть дури, свистнул, четырехлапые разбежались кто куда. — Это, поди, Егоровых глотку рвал. Этот полосатик тот еще. Небось, под своими окнами не орут. Вот я его завтра сапогом поглажу...

— Ложись уж, спи, надоел уже.

— Вставать пора, а ты — ложись, уснешь тут с вами. — Игнат покругился по комнате, посмотрел по сторонам, чем бы себя занять. — Напишу-ка я, пожалуй, Федору письмецо. Может, поможет чем, совет какой даст.

— Какой совет?

— Как от бессонницы избавиться. Ведь изведет она меня всего. Он все-таки как-никак врач.

— Стоматолог.

— Стоматолог, — передразнил он жену. — А стоматолог что, не врач что ли?

— Ой, поступай, как знаешь. Как старый дед, ей-богу, ворчишь и ворчишь.  
— Я на тебя посмотрел бы, если бы ты вторую неделю не поспала.  
— Ну чем он тебе, Федор-то, поможет? То не писал, не писал, а как петух клонул, так сразу брата вспомнил.

— Вот ты, я не знаю прям, что с тобой делать-то. Если я не пишу, это не значит, что я о нем не думаю, — Игнат присел за стол, включил ночник и принялся что-то искать глазами. — Ты ручку не видела?

— Карандаш возьми.

— И карандаша нигде нет. Ничего нет. Как всегда: не надо, весь стол ручками усыпан, как возьмешься письмо написать, ни ручки, ни листа.

— Ну все, забыл.

Игнат отправился к дочери в комнату (та сейчас в городе в институте) и вернулся радостный с тетрадью и ручкой.

— В нашу больницу давно бы ходил.

— И что председателю скажу? Не отпустите ли меня, Сергей Андреевич, в больничку скататься, а то, мол, бессонница замучила. Может, и ничего серьезного нет. А я людей баламутить просто так буду. Может, всего-то таблетку какую надо. Как я людям в глаза потом смотреть буду. Нате, дожили, Игнат Ильич, на старости лет уснуть уже не можете.

— Вот так всегда у вас у.bestолоковых и бывает. Сначала ерепенитесь, а как помирать начнете, то врача им сразу подавай.

— Тьфу ты! — Игнат даже слегка приподнялся со стула. — Да я что тебе, помирать что ли собрался. Ну, все скажешь, ей-богу, прям. Ну тебя!

Зинаида промолчала и отвернулась к стене. Игнат уселся поудобнее и принялся писать письмо:

“Здорово будешь, брат! Как у вас там в Горьком жизнь, продвигается? Ничего? У нас тоже ничего. Ничегошеньки. Все по-прежнему. Все хорошо вроде бы. Посевная началась. Ни свет ни заря, как мы уже в поле. А вечером еще в Дивеево молоко вожу. Без дела не сидим, так сказать. Оксанке передавай от нас с Зинкой по приветам. Моя-то, Валентина, к вам не заходит? Заходить будет, ты ее там от меня поругай, мол, почему отцу с матерью не пишет, чай волнуются. Мы ей тут посылку давеча собирали, отправили, а дошла или нет, не знаем. Учится она хорошо, это я знаю, не переживаю даже, она у нас всегда страсть как к знаниям тянулась. Мы-то с матерью свой век доживем как-нибудь у себя здесь, а ей свет белый увидеть надо. Но ты ее, Федор, все равно поругай, не дело это отцу с матерью не писать. Она, конечно, уже скоро приедет, летом-то, но все равно, черкнуть пару строчек же можно, мол, все хорошо, люблю, скучаю...” Игнат посмотрел на жену.

— Ну-у, засопела.

Почесал ручкой затылок, призадумался немного и принялся писать дальше:

“У меня ведь, брат, вот ведь какая штука произошла. И писать даже как-то неловко. Представляешь, уснуть не могу. Вот ведь как. Бессонница, зараза эдакая, замучила. Я с ней окаянной скоро с ума сойду. Уже дней десять, как уснуть не могу. Я же ведь тоже не железный. Весь день в поле, устаю, как собака, а домой придешь, приляжешь, и хоть бы хны. Ладно бы там совесть мучила или еще чего, никого не обманывал сроду, ни копейки не украл, все честь по чести с законом, а уснуть не могу. Моя тут сегодня отчудила. Овец, говорит, считай, как через плетень прыгают. Ну, баба есть баба, мозгов, как у курицы, только кудахтать и могут. Слушай, Федор, помоги, а? Ты все-таки как-никак человек образованный, с дипломом, должен же знать, как от нее, поросятины, избавиться. Может, таблетки какие купить, не знаю, прям? Ты, брат, смотри сам, если у нас здесь эти лекарства есть, то напиши названья ихни. А если нету, то купи у себя в городе и вышли. Вот ведь, никогда не думал, что бессонницей мучиться буду. А ты, Федор, чего к нам не едешь, чего не навещаешь? Давнешько, брат, не заглядывал уже. Так что этим летом давайте с Оксанкой приезжайте, погостите немного, никуда город не денется, не пропадет без вас. Отдохнете хоть немного от этой суеты. Мы с тобою с утраца на прудик ходим, рыбки половим,

ну а вечером и пригубить немного можно. Приезжайте, приезжайте. Моя все тоже спрашивает, чего, мол, не едут. Так что давайте к нам. Хоть душою немного отдохнете. А Васька ваш осенью как из армии придет, тут уж мы к вам нагрянем. А то уж я забыл, как ты у меня выглядишь. Отца с матерью навестим. Я тем летом матери крест поменял, старый он у нее был, прогнил весь, у отца ничего, держится еще. Оградку им новую поставил... Так что, давайте, Федор, приезжайте. Скучаю по вам. Ну, не буду прощаться. Пишу, как обычно пишут все. Жду ответа, как соловей лета”.

Игнат улыбнулся и сложил листок. Посмотрел снова на ходики. Накинул старенькую фуфайку и вышел на крыльцо. Достал папиросину, закурил. Уже рассветало. Весеннее утро отдавало приятной прохладой. Игнат улыбнулся и вдохнул в себя воздух:

— Боже, хорошо-то как. Как же хорошо.

## ЗВЁЗДНОЙ НОЧЬЮ

### РАССКАЗ

Илья Петрушин возвращался к себе домой. Был в гостях у Егорыча на другом конце деревни. Приняли с ним немного, поговорили по душам. Давненько так уже не засиживались. Завтра выходной, можно немного и расслабиться. Работал Илья в колхозе механиком. Без его золотых рук не обходилась ни одна техника. Председатель все никак не мог нарадоваться им.

— Без тебя бы, — говорит, — все, пропали бы. Ни за что бы план не выполнили.

И тоже верно. Техника нынче старенькая уже. За ней глаз да глаз нужен. А работал Илья со всей душой, со всей нежностью относился к тракторам и комбайнам, может, и потому машина одного его и слушалась. Тут же оживала и работала с полной отдачей.

Илья шел легкой походкой по деревне, поглядывая на небо. Бледнолицая луна ярко светила сверху.

— Ты гляди-ка, зараза какая, — улыбнулся он, — разыгралась-то как.

Кругом тихо. Хорошо. Только с невестами и гулять. Кузнечики поигрывают где-то в темноте. Илья вспомнил, как семнадцать лет назад с Марусей гуляли по деревне. Так же светила луна, так же подмигивали звезды с неба, так же играли кузнечики, так же было хорошо и легко на душе. Проходя мимо Сомова дуба (у Степана Сомова отец еще до войны посадил, так и прозвали), Илья заприметил чей-то силуэт. Кто бы это мог быть, да еще один? Подойдя поближе, Петрушин узнал своего соседа.

— Кузьмич, ты чего тут один скучаешь?

— Илюша, ты это?

— Ну а кто же? Чего, говорю, сидишь тут один?

— Да я это, — старик промолчал.

— Снова?

— А?

— Снова, говорю, буянит?

— Да нет, что ты, нет.

— А то я не вижу, — Илья присел рядом на траву, достал папиросу, закурил. — Чего он у тебя опять?

— Успокойтесь сейчас, спать ляжет, э-э, — Кузьмич махнул рукой. — Все хорошо, Илюша, все хорошо.

— Поговорить бы с ним надо, не дело это.

— Ты что?! Не надо, не надо, Илюша. Он же сейчас дурной. А случись чего? Не надо, не надо.

— Это ты, батя, прав, конечно, но ведь это тоже, извини меня, не дело. Когда же он у тебя за ум-то возьмется, а? Как опрокинет кружку браги, так и герой сразу. Паразит поганый.

Кузьмич слегка простонал, то ли соглашаясь, то ли просто, чтобы не молчать. Илья посмотрел на него, на его печальные глаза и тяжело вздохнул. Жалко ему было старика. Живешь, работаешь, всю душу вкладываешь в детей, а потом вырастают они и плюют тебе в эту самую же душу.

Речь шла сейчас о Макаре, о младшем сыне Кузьмича. Был у него еще Иван, да утонул пятнадцать лет назад. А старшая, Елизавета, в городе сейчас, замужем, редкий раз приезжает. Макар тоже поначалу, как из армии пришел, в город подался. На Горьковском автомобильном заводе работал. В технике так же души не чаял. Женился. И все бы хорошо, и голова и руки есть, а нет, запил, будь неладным оно это вино. И ведь как бывает-то. Одни выпьют, вроде бы и ничего, спать ложатся, тихие, но этот же, как опрокинет за шиворот, злыдень на злыдне. Бесы вселяются. Психует, с кулаками на всех лезет. Пожили с женой семь лет да разошлись. Понятное дело, сколько же терпеть бабе можно, когда руки то и дело распускают. Вернулся в деревню и опять задурил. Нет бы в колхоз устроиться Илье на подмогу, любой трактор с закрытыми глазами соберет, так нет, запил, и ничего ему теперь кроме водки не нужно. Вся радость у него в ней. К тридцати годам уже подходит, а на седого отца не стыдится руку поднимать. Выпьет и давай буянить. Кузьмич молча избу покинет, пройдетя немного по деревне, подождет, пока тот заснет, только потом вернется. Сам уже на рожон не лезет. Дурной Макар, когда пьяный. Трезвый-то еще спокойный, все больше молчит. И сколько это продолжаться будет, неизвестно. Ясно одно, к добру это не приведет, а за ум браться тот не собирается.

Илья потушил папиросу. Ругать и говорить о Макаре плохо сейчас не хотелось. Старик и сам все прекрасно понимал. Разговаривать нужно с тем, с молодым меринном, да только тоже все без толку, как об стену горох. Да ведь ладно бы, если Кузьмич плохим отцом был, пил, бушевал бы, другое дело. Так ведь мухи сроду не обидел, оттого и обидно. Хорошо Илья знал старика. Тихий, рассудительный, всегда в работе. Тамарку вот только как схоронил четыре года назад, молчаливым каким-то стал. Тяжело ему одному, на старости лет, а тут еще и сын праздники устраивает.

— Может, накатим помаленечку, а? — предложил Илья.

— Да не надо.

— А то у меня есть.

— Ты же знаешь, я как-то не очень ее.

— Да я тоже не очень, — Илья тихонько вздохнул. — А вот сейчас бы немного выпил.

— У тебя чья? Никифоровой?

— Баклановых.

— Баклановы хорошую гонят.

— Хорошую.

— У тебя с собой что ли?

— Дома. Да я схожу сейчас, — Илья поднялся на ноги.

— Да не надо, не буди никого.

— Да я аккуратно. Ты только это, Кузьмич, тут будь, не уходи пока. А я быстро.

— Да куда я уйду, — с хрипотой произнес тот.

Илья отправился к дому. Очень хотелось выпить с Кузьмичом, поговорить его немного. Он прекрасно понимал, как старику тяжело, а с Макаром завтра утром поговорит снова. Не дело это, когда сын на отца руку поднимает. Лишь бы пить бросил, а там бы с работою помогли бы ему.

Только Илья зашел в избу из комнаты послышался Маруськин голос:

— Илюш, ты?

— Гоголь.

— Кто?

— Да я это, кто же еще.

Илья разулся, прошел на кухню. Зашла Маруся:

— Чего не раздеваешься?  
— Папиросы закончились. Посижу еще, покурю. Ночка-то нынче какая, а!

— Ты спать-то собираешься?  
— Сейчас приду.

Илья достал из шкафчика бутылку самогонки.

— А это зачем?

— Посмотри чего-нибудь в холодильнике, под закусь дай, — Илья убрал бутылку в карман брюк. — С Кузьмичом сейчас немного посижу и приду.

— Чего это он на ночь глядя-то? Опять что ли?

— Опять-опять. Нарезь сала и огурчиков положи.

Маруся стала приготавливать закуску. Как и велел ей муж, нарезала сала, огурцов да ржаного хлеба.

— В милицию его надо, дурака этого, сдавать. Пусть там с ним разбираются.

— Сколько раз там бывал, толку-то.

— Мало, значит, был, — сказала та, протягивая мужу закуску. — Не прятаться от него на улице надо, а в милицию сдавать.

— Шибко все какие умные стали. Чай какой ни есть, а сын. Лешка-то наш подрастет, буянить вдруг станет тоже, часто милицию-то вызывать будешь?

— Ой, е-мое, вот ляпнет тоже, не подумавши. Ты хоть подумай, прежде чем говорить.

— Растишь-растишь их, а потом кулаками вся благодарность. Неужто Кузьмич плохим отцом был? Вот то-то же. А во всем она вот, дрянь эта виновата, — показал он бутылку. — Только она и виновата.

Илья принялся обуваться.

— Недолго только, ладно? — Маруся подала мужу кепку. Вообще-то она не переживала, потому как знала, что мужик у нее молодец. Работающий, спокойный, не пьет. А если бывает и выпьет, то только на пользу. Работает день и ночь, и неужто крепкому здоровому мужику иной раз и не выпить?

Кузьмич по-прежнему сидел на старом месте.

— Ну, вот и я, — Илья присел на траву, положив рядом тарелку с закуской. Открыл бутылку, налил немного в кружку, протянул старику, затем налил себе. — Давай, чтобы все хорошо было.

— Никого не разбудил?

— Да мою, хоть из пушки стреляй, не разбудишь, — махнул рукой, улыбнулся. — Ну, давай, Кузьмич.

Выпили, закусили. Старик задрал голову вверх.

— Звезды нынче как играют, посмотри-ка. Загляденье. Мы с Тамарой всегда любили гулять по вечерам. Выйдешь, пройдешься по улице, на небо посмотришь, а звезды перемигиваются-перемигиваются. Моя все любила считать их. Да разве их пересчитаешь, — Кузьмич улыбнулся, — вон их сколько, попробуй, пересчитай. А каждую звездочку знала. Ты вот знаешь их, названья-то? — Илья пожал плечами. — Вот и я не знаю. А Тамара все знала у меня. Все-превсе. Интересная была, веселая-веселая. А пела как! Ууу! Ну ты помнишь ведь, да?

— Помню, конечно. Красиво.

— Красиво. Никто так в деревне не пел, как она. Запоет, бывало, в поле, и душа радуется, и будто и не работал, столько силы сразу набегает, столько энергии. — Старик помолчал немного. — Ты с Марусей-то как познакомился? Она же вроде из Суворова?

— Из Суворова. — Илья достал папиросы, угостил старика, закурил сам. — Ну как познакомились, — улыбнулся. — Нас тогда в их колхоз посылали, а она дояркой работала там. Ну вот, слово за слово и... Потом ездил к ней зиму-то, ну а весной уж к себе забрал да поженились.

— Не умеешь ты, Илюша, рассказывать, — улыбнулся по-доброму Кузьмич.

— Да куда уж мне, — посмотрел Илья на старика и тоже улыбнулся.

— Ты наливай, наливай, — Кузьмич кивнул на бутылку. — Хорошая

какая, зараза. Давненько я уже не пробовал. Умеют Баклановы все-таки гнать.

Илья разлил по кружкам самогонку. Снова выпили с ним, закусили.

— Тамара-то у меня ведь тоже не отсюда, из Черемушек.

— Да?

— Да. Я там тоже какое-то время жил у них. Ты еще маленький был. Поехали, значит, мы с Филиппом Кондрашовым в Черемушки, к тетке его. А тут ехать-то до них тридцать верст. Приехали, он ей гостинцы от матери передал, крошки с ним поели, ну, думаем, на прудик сходить надобно, рыбку посмотреть, а ближе к вечеру уж обратно. Закинули, значит, удочки, сидим, ждем. Клева нет, кх, — Кузьмич слегка кашлянул в ладонь. — И вдруг видим, а по другую сторону две девицы молоденьких подошли купаться.

— Тамара была?

— Ну, а кто же. Да ты не перебивай, не перебивай, ты слушай.

Илья улыбнулся и послушно кивнул головой. Ему даже приятно как-то стало, что смог разговаривать старика.

— Мы с Филькой, недолго думая, удочки в сторону, разделись и в воду. А у меня же вся спина в шрамах после немцев-то. Так я прям в рубахе, — Кузьмич улыбнулся. — Подплыли, значит, к ним, а они на спине плавают, нас почему-то не замечают. Филипп же сроду стеснительный был. А я сходу прям, в какой стороне, спрашиваю у них, Америка находится, куда, мол, плыть. Моя-то сразу шутку поняла, насчет Америки не знаем, говорит, а вот Турция в той стороне. И показывает рукой на берег, откуда мы приплыли. Быстро с ними подружились. Тамара у меня же всегда разговорчивой и веселой была. И вот знаешь, Илюш, вот как увидел ее, так и полюбил сразу. Вот тебе крест. Никогда я таких добрых и живых глаз не видел.

— А вторая, что за девушка была?

— Ой, я уж, если честно, Илюш, и не припомню. Олесей, по-моему, звали. Знаю, что замуж вышла да во Владимир уехала. А как звали, что-то и не припомню.

— Бывает. Я вот сослуживцев своих и то вспомнить порой всех по имени не могу. А ведь тоже три года бок о бок жили. И дружили-то как. А вот не вспомню, бывает, и все тут. Память она такая.

— Умирала она тяжело у меня. Тяжко мучилась. Все никак не забирал ее Господь-то. Вот ведь тоже, всю жизнь людям добро делала, радость дарила, никого не обижала, никому зла не желала сроду, доброй души была. А как животные ее любили, у-у-у. Да все ее любили. А умирала в муках, — Кузьмич посмотрел на небо. — Зато теперь среди ангелов. И, слава богу, что не увидела, каким теперь сыночек наш стал, — у старика на глаза наплыли слезы. — Не выдержало бы ее сердечко, ой не выдержало. Страдала бы как, сколько бы слез пролила, как бы намучилась с ним. А так он для нее навсегда хорошим остался.

— Кузьмич, — Илья положил на худое плечо старика ладонь. — Ну, чего? Ну, все хорошо будет. Да образумится еще. Да неужто за ум не возьмется? Возьмется.

— Дай Бог, — Кузьмич протер ладонью влажные глаза, отвернулся в сторону.

— Ты выпей немного, давай налью.

— Нет. Все, Илюш, спасибо, не буду. Пойду я к себе, наверное. Спасибо тебе. Пойду.

— Может, у нас заночуешь сегодня, а?

— Да у меня что, дома нету что ли, — старик поднялся на ноги, и Илья вместе с ним. — Спасибо тебе, Илюш, конечно, но пойду я.

Илья похлопал старика по плечу, проводил немного его взглядом и тоже двинулся к дому, по дороге размышляя о жизни. Вот ведь прожил человек жизнь, дожил до старости, любил, трудился, душу вкладывал в детей, а теперь от родного сына приходится прятаться. Вот ведь как. И ради чего, спрашивается, живем? Снова задрал голову к небу.

— А звезды нынче и правда какие, а луна-чертовка, нда, только с невестами и гулять...

# АЛЕКСЕЙ НИЗОВЦЕВ

## ДЕД

### РАССКАЗ

Звезды, яркие молочные звезды, разбросанные по небу над далекими деревеньками, в тихой милой провинциальной глуши, какими вы кажетесь близкими и родными, сколько в вас неизбывной прелести и печали. Сколько уставших и заплаканных глаз смотрело на вас с вечной русской тоской, смиренностью и надеждой. Вы как будто впитали в себя их боль и тягостное ожидание чего-то нового, лучшего, что обязательно должно прийти с первой утренней зорькой, и каждую ночь, зажигаясь, отвечаете на обращенные к вам взгляды своей любовью. Среди стальных, мутных, будто бы грубо выкованных городских небес вам нет места, поэтому, выбираясь из душного города на вольные просторы лесов, полей и бездорожья, я каждый раз с нетерпением жду нашей новой встречи. Тем поздним вечером, когда мы приехали в небольшой поселок Рязанской области, спелое звездное небо сострадало нам. Наутро мы должны были хоронить моего деда, прожившего в этих краях практически всю свою жизнь.

Деда я не узнал, да и не хотел узнавать его, высокого, красивого, статного мужчину с благородной проседью при жизни, таким — чужим, с масочной бледностью резко постаревшего лица, безучастно лежавшим посреди оживленной комнаты. Конечно, за последние годы он серьезно сдал. Особенно после того, как одной из зим, прогуливаясь вокруг памятника Ленину, сломал ногу. В этом была какая-то горькая усмешка судьбы: до последних дней жизни дед яростно, с какой-то внезапно появившейся бодростью, отстаивал все то светлое, чистое и непорочное, что заключала в себе, по его мнению, фигура вождя. Он был коммунистом, а не карьеристом, никогда не пользовался возможными привилегиями, был из тех “красных” Дон Кихотов, что до конца сражались на идеологических полях брани с ветряными мельницами. Без костылей ходить он так и не научился.

Я не мог на него смотреть, слез не было, но было ощущение какой-то нелепости, иррациональности всего происходящего. Вокруг многолетнего хозяина квартиры, остывшего и побледневшего, сустились женщины, готовые к завтрашним поминкам **кутью**, сновавшие из комнаты в комнату и, как водится, только мешавшие друг другу, читались молитвы, зажигались свечи и вставлялись в недавно испеченные блины — дикая смесь истинной веры и никому непонятных местных обрядов, никто не мог объяснить, зачем всё это делалось, но делалось это всегда и с непреклонной уверенностью в необходимости совершаемого.

Перекрестившись на образа, я стремительно вышел из комнаты, оставаясь в которой не было уже никаких сил. Пытаясь отвлечься, да и просто чтобы не путаться под ногами занятых последними приготовлениями женщин, чье число в квартире, казалось, с каждой минутой всё увеличивалось, я быстро прошел в дедовский кабинет. Как любил я заходить сюда, когда, будучи еще совсем маленьким, приезжал в здешние края на летние каникулы. И что так манило меня? Кровать, шкаф, книжные полки до потолка во всю стену да письменный стол — вот и вся нехитрая мебель, которая умуд-

---

*НИЗОВЦЕВ Алексей Вячеславович родился в 1983 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского государственного университета. Автор публикаций в периодике. Работает редактором в одном из издательств. Живёт в Москве.*



рылась как-то умещаться в этой комнатухе. Но повсюду были книги: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Бунин и, конечно, Есенин, творчеством которого так восхищался дед. Кроме русской и зарубежной классики, были и редкие издания, посвященные футболу, которые я зачитал до дыр уже тогда, в детстве, различные словари и множество другой литературы. Мне всегда думалось, что такая библиотека и должна быть у настоящего журналиста: дед до последнего, пока позволяло здоровье, писал статьи в местную газету. Сколько раз, подходя к заветным полкам, я выбирал какой-нибудь томик и погружался в чтение, но теперь я лишь смотрел на чудесное разноцветье слегка потрепанных корешков книг и не мог заставить себя в отсутствие хозяина прикоснуться хоть к одной из них. Я с грустью думал о том, как мало у нас с ним было разговоров об этом волшебном, манившем нас обоих мире, о том богатстве, которое он так бережно хранил в своей душе и которым всегда готов был поделиться. Внезапно мой взгляд задержался на красном словаре современных иностранных слов, который всего пару лет назад дед попросил меня привезти ему из города. Ясно помню свое удивление, когда услышал от него такую просьбу. С чуть виноватой улыбкой дед объяснил, что сейчас в газетах, телепередачах появилось много новых, каких-то непонятных, странных слов, а глупым чувствовал себя он себя не хочет. От воспоминания той нашей беседы на душе стало легче, подумалось, что, даже приближаясь к окончанию своего земного существования, дед продолжал образовывать себя, не утратил жажды познания. Всплыли в памяти и его частые полшуточные наставления “ученье — свет”, по мере взросления наполнявшиеся для меня все более глубоким смыслом. Уже выходя, я бросил взгляд на письменный стол, на котором, как и несколько лет назад, когда дед еще усиленно работал, лежали его старые очки и ручка.

Спать мы отправились к знакомым. То рязанское летнее утро предстало перед нами блеклым, сумрачным и дождливым. Ветер без устали носился по поселку, перелетая с одной улицы на другую, все время опережая меня, вышедшего развеяться, прогуляться по таким близким с детства местам, от разрушенного клуба, бывшего некогда храмом, до нашего дома и дальше, до покосившихся тоскливых полей, обрамлявших поселок. Однако пора было собираться на кладбище.

Все было взвинчено, напряжены, хотели, чтобы похоронные мероприятия поскорее закончились, но никто, как обычно, в этом не признавался. Дождь ненадолго прекратился, стих ветер, и на земле появились нерешительные, казавшиеся такими нежными, первые солнечные лучики, они будто понимали всю неловкость своего появления перед нами, но, постепенно осваиваясь, заливали своим светом все больше пространства перед домом. К подъезду не спеша подходили желавшие проводить деда в последний путь, подъехала и машина ритуальных услуг. Внезапно один из прибывших на ней молодых, который должен был спускать гроб со второго этажа на улицу, издал визгливый потусторонний крик, упал на землю и судорожно задергался. “Припадочный, ложку, срочно несите ложку, а то проглотит язык!” — закричали вокруг, все зашумели и, как водится в обществе деревенском и суеверном, зашептали о том, что это дурной знак, обрывочно замелькали руки, осенявшие себя крестным знаменем. Чуть позже мне рассказали, что подобные случаи среди местных мужиков довольно часты — виной тому дешевая жидкость для мытья стекол, которую вместо водки и вина они приспособились пить, здоровье от этого пошла подрывалось моментально, но об этом ли думали деревенские молодцы, в любую погоду рывшие землю на кладбище, в зной, дождь, стужу находившиеся между небом и землей. Когда опускали гроб с телом деда, все боялись повторения припадка, шептались молитвы, крестились, но все прошло спокойно. Наконец, печальная вереница машин потянулась на окраину поселка, ветви росших вдоль дороги кленов и берез плавно качались на ветру, будто провожали в последний путь так любимого гулять среди них, ценившего их красоту и стройность человека.

Отпевание прошло с неизменными в подобных случаях грустной торжественностью и смирением среди сладкого запаха ладана, быстро облетевшего все помещение церкви, в сумраке, освещенном чуть дрожащими огоньками,

венчавшими бледные восковые свечи в наших руках. Всю службу не покидали мысли, что происходящее здесь — последнее, что совершается с дедом в этом мире, дальше он навечно сольется с родной землей, которую любил со всей нежностью и преданностью, которую так глубоко чувствовал и понимал, а душа его улетит в неведомую всем нам, собравшимся в этой церкви, до дрожи пугающую своим непостижимым великолепием высь. Запомнились простые, негромкие слова батюшки, говорившего о нашем неустанном беге за почестями и богатствами, о их пустоте и нелепости в минуты окончания земного пути, когда из всего нажитого нам понадобится лишь гробик. На улицу вышли молча, говорить не хотелось, плакать тоже впереди предстояло самое тяжелое испытание, которое мы все время будто откладывали.

По кладбищу гулял совершенно не летний промозглый ветер, снова стало мрачно, пасмурно, неприятней всего было то, как мерзли руки, которые мне никак не удавалось отогреть. От его лихих, беспорядочных порывов не спасали ни куртка, ни рубашка, казалось, что не тело, а обнаженная душа дрожит посреди этого страшного места. У свежевырытой могилы деда всё собирались люди, многих не было на отпевании, многих я вообще видел в первый раз. Деда уважали, любили, ласково называли “Петрович”, как часто я слышал такое обращение, прогуливаясь с ним в детстве по спокойным, затертым ярким солнечным светом улочкам поселка, люди подходили позвать ему руку, справиться о здоровье, теперь они шли проститься.

Сколько всего последнего мы совершаем в эти прощальные минуты: последний поцелуй в аккуратно положенный на лоб почившего венчик, последний взгляд на некогда такое родное и близкое, а теперь с трудом узнаваемое, исполненное невероятной бледности лицо, последнее “прости”; сколько боли, тоски, усталости в наших мыслях, движениях, в рыданиях женщин и сдержанных слезах мужчин. И как страшен этот возникающий будто бы из ниоткуда, мучительный, заглушающий все другие звуки стук молотка по крышке гроба. Последнее твое участие в совершаемом — кинутая на гроб горсть земли, а дальше начинается монотонная и уже такая привычная для удалых ребят работа: отточенные взмахи рук, крепко зажавших лопаты, сосредоточенные взгляды, да прорывающееся сквозь эту кажущуюся легкость крепкое словцо.

Опустошенный, вымотанный и долгой вчерашней дорогой, и сегодняшними переживаниями, я тихо смотрел на могилу деда, еще одну появившуюся на этом некогда скромном, небольшом кладбище, всего за несколько лет так значительно разросшемся. Деда похоронили рядом с его сестрой, моей двоюродной бабушкой, нянчившей, воспитавшей меня, я никогда не признавал этого ужасного слова “двоюродная” и всегда называл ее просто — бабушка. За своей спиной среди негромкого гула голосов я вдруг отчетливо услышал наполненное какой-то невыразимой глухой болью шептание дедовского соседа: “Прости, Петрович...” От этой мучительной искренности у меня на глазах первый раз за все утро выступили слезы, поспешно перекрестившись, я вышел за ограду и, не глядя по сторонам, направился к выходу с кладбища.

Я стоял у обочины чуть в стороне от небольших унылых грязно-серых луж, отражавших такое же мутное бесцветное небо, они были неподвижны — ветер стих, и стало заметно теплее. Мой рассеянный взгляд был обращен куда-то вдаль, где виднелись неяркие очертания поселка и куда с такой неохотой, все время пеглая, будто желая навеки затеряться среди расстеленных вокруг полей, тянулась рваненькая, небрежно подлатанная дорога. Вот она свернула к ветхой автозаправке, на которой никогда не было бензина, и, словно приободрившись при виде первых появившихся вдоль нее маленьких однотипных домиков, расширилась и весело побежала вперед. Дома, аллеи, сад, рынок — дорога пронизывала весь поселок и устремлялась дальше, верно следуя однажды назначенному ей направлению. Там, за мостом, поблизости от беззаботно журчащего хрустального родничка она давала жизнь маленькой тропинке, по которой, счастливо улыбаясь, не спеша шли двое — высокий, хорошо одетый мужчина со следами уже наступившей старости на красивом лице и жизнерадостный голубоглазый мальчуган с потрепанным

мячом в тоненьких руках. Весело переговариваясь, не обращая внимания на неугомонных мух и комаров, они свернули в сторону густых зарослей ирги, на небольшом отдалении от которых манила прелестью свежих, после дождя точно снова народившихся, светло-изумрудных листьев березовая роща. Туч над ней уже не было, они словно растаяли, освободив от своего надоедливого, тягостного присутствия небосвод, на котором, повинаясь какой-то неведомой волшебной силе, начали мягко проступать лиловые, пурпурные, огненные полосы, они становились все теплее, ярче, и казалось, что и это лето, да и вся жизнь будут наполнены тихой нескончаемой радостью, берущей начало в этом нежном закатном сиянии.

## ВАЛЕРИЯ ОБОДЗИНСКАЯ

# НЕ ТИГР

### РАССКАЗ

Двадцать девятый год. Весенний вечер. Мака за столом в кабинете. Руками обхватив голову, смотрит вдаль. Лицо напряжено. Волосы гладко причесаны на косой пробор. На столе горит абажур. Стоят два канделябра, множество книг аккуратно разложены в стопочки. Одна из них куплена недавно — томик Мольера на французском. Возле бронзового бюста Суворова скромно поживает кошка Мука. За спиной писателя библиотека: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, конечно же Чехов, Мольер, Золя, Гете, записочка с надписью: “Просьба книг не брать”. Там же журналы, газетные вырезки с критикой, а временами ругательствами в его адрес, которые писатель фанатично собирал по непонятной причине.

В столе уже лежит готовая рукопись “Мания Фурибунда” о появлении Иванушки в “Шалаше Грибоедова”, писательском ресторане на Тверском бульваре. Тишина, лишь время от времени слышится, как в печи потрескивают угольки. Однако за дверью “мертвого царства” кипит жизнь.

Домработница Маруся стряпает на кухне, шипит масло в сковородке. “Уважающийся” котенок Флюшка с Бутоном, веселым добродушным псом, носятся из одной комнаты в другую. Флюшка, убегая от пса, залез в корзину для мусора, опрокинул ее, а когда сообразил, что сделал что-то не то, дал деру. Проказник бросился в столовую, прыгнул на стол-“сороконожку” и принял вид: устало закатывал глаза, зевал и с недоумением поглядывал на лающего Бутон. Бутон “рыдал”, но на стол залезать не смел. На шум прибежала Маруся. Флюшка понял, что его застучали прямо на столе. Не зная, что теперь делать, он упал “замертво”.

Это все Любовь Евгеньевна, вторая жена писателя, без ума она от всей этой животины, ей всегда “жалко”. А посему Бутона приволокла из соседней лавки, Флюшку притащила с Арбата. Был еще котенок Аншлаг, но, по-

---

*ОБОДЗИНСКАЯ Валерия Валерьевна родилась в Москве в 1978 году. Окончила театральное-художественный колледж. Год училась во МХАТе. В последние десять лет работает на фирме “Мелодия”. Студентка Литературного института им. А. М. Горького.*

пав к Стройским, умудрился родить котят, после чего стал просто Зюнькой. А ведь был вполне приличным котом, недаром же говорят “неисповедимы пути Господни”.

Вернемся обратно к художнику. Мака встал, прошелся по комнате, взял кочергу и начал задумчиво мешать угольки. Огонь завораживал, успокаивал, заставлял забыть нынешнее положение. Он часами мог наблюдать за языками пламени, заглядывать в эти желто-синие глаза. Мака — это прозвище, данное себе им самим в честь одного из сыновей злой орангутанихи. Ну, впрочем, это отдельная история.

Итак, Мака вернулся к столу, достал несколько тетрадей, открыл одну из них под названием “Черновики романа. Тетрадь первая”, остановился на тринадцатой главе “Якобы деньги” и начал выразительно читать, расхаживая по комнате. Он то садился, то вставал, то пищал, жестикулируя, меняя голос, интонацию, мимику.

Лицо его ожило, заиграло. Он так увлекся, что со стороны скорее показалось бы, что это маленький мальчик, играющий и представляющий свой мирок, нежели мужчина тридцати восьми лет. Но подойдя ближе, мы непременно увидели бы, что это не просто игра мальчика, — это зрелость мужчины, способного видеть то, что неподвластно постороннему глазу, — он по-настоящему видел то, о чем говорил, оставалось только облеечь предметы в слова, а слова в буквы:

“Вторая венецианская комната странно обставлена. Какие-то ковры всюду, много ковров. На столе стояла какая-то подставка, а на ней совершенно ясно и определенно золотая на ножке чаша для святых даров.

“На аукционе купил. Ай, что делается!” — не успел подумать буфетчик, как тут же увидал огромных размеров тигра с бирюзовыми глазами.

Ярко-рыжий тигрище сидел возле хозяина и, улыбаясь, смотрел на вновь прибывшего. Буфетчику показалось, что тот даже сверкнул глазом и подмигнул ему. Почувствовав себя нехорошо, он немедленно перевел глазенки на хозяина”.

— Ты в Наркомпросе был..? — раскинулся хозяин на некоем возвышении, одетом в золотую парчу, на коей были вышиты кресты, но только кверху ногами”.

— В Наркомпрос я Бонифация еще позавчера посылал, — пропищал кто-то из-за двери”.

— Да что там, потеха! — подхватил тигр и, оскалившись, вяло посмотрел на буфетчика”.

— Ерунда все это какая-то! Не то, не то! — писатель бросил раздраженно тетрадь на стол, где окончательно разлеглась Мука, пригравшись под абажуром-инвалидом. Инвалидом он стал с тех самых пор, как Бутон (кстати, Бутон он в честь слуги Мольера) повис на проводе и разбил его. Мака, конечно, склеил лампу, уж очень Любаша любила ее.

— Начнем все сначала, — отодвинув кошку в сторону, творец принял любимую позу: сел, подогнув под себя одну ногу калачиком, и стал глядеть сквозь пространство, словно видит что-то. Что-то из забытого прошлого, или же не забытого, а просто отложенного им в сторонку до нужных времен. Двадцать первый год, Закавказье. Нищенское существование, о котором всегда хотелось забыть и не помнить.

Да вот как и теперь! Он доведен до крайности. Что делать? Как жить? Что впереди, когда все пьесы запрещены, а на работу не берут даже работников сцены? Нищета, голод. Бессонные ночи, постоянные мысли о том, как найти средства к спасению, к существованию. Неужели это конец? А, плевать!

Писатель достал золотой портсигар, который купил вместе с “леопардом” — шубой для Любови Евгеньевны в прошлом году. Закурил, глядя в окно, и написал очередную “котовскую” записку:

“Я буду боро...”.

Да, он частенько писал подобные записки от “якобы котов”, особенно когда Любаша задерживалась, он писал: “Токуйю маму выбросит в яму”, рядом подпись: “Уважающийся кот”.

— Тигр, тигр, тигр, тигр... — произнес писатель, поморщив лоб и выпустив клубы дыма от папирос, купленных на последние деньги, — ох, до чего же ты мне осточертел... Да и был ли ты? Что тебе от меня надо? Что я забыл там? Самого себя забыл.

То был двадцать первый год. Мака ехал в теплушке из Владикавказа в Баку, сидя на полу. Безумно хотелось есть, от голода болела голова, ныло в желудке, не было сил. Только бы доехать, думал он, и уже зверем поглядывал на лес, в котором можно было бы найти что-то съедобное. Лес манил к себе. И вдруг, словно кто-то прочитал его мысли, вагон остановился.

— Что случилось? — выскочил он из вагона. Обдало жаром из-под колес. Выяснилось, что кончилось топливо, и нужно идти за дровами. И тогда он побежал в лес, но вовсе не за дровами, а в поисках еды. Что он хотел там найти? Вот к чему приводит нищета, голод, и как все это отвратительно стыдно. Жара, лес, свежий воздух сделали свое дело, у него закружилась голова.

Он потерялся во времени, и казалось, что теряет сознание. Все поплыло, а еды он не нашел, не искал и даже уже не думал о ней.

“Я умру здесь, — подумалось ему, — кто найдет меня тут, в лесу, когда поблизости ни души? Все отдал бы я теперь за хлеба кусок, душу самому дьяволу отдал бы”.

Он опустился на траву, опершись на дерево. Вот, что осталось еще хорошего. Все то же небо голубое, все то же солнце и лесная прохлада. Солнечный луч переливается на листьях. Красота! Когда-то он был ребенком, когда-то у него был дом, застолья, шутки, песни, игры. Что случилось вдруг с этой жизнью? Куда все делось в одночасье? Что за черная полоса? Что он сделал не так? Что? Что? Что? И зачем все это?

— Я так устал, — прошептал несчастный, закрывая глаза и прижимаясь к дереву. А ведь еще недавно он лежал во Владикавказе и умирал от тифа. Тогда он мечтал только об одном: увидеть горы, лес, одиночество. И вот он здесь. Все сбылось, как он того хотел. Неужели тогда он всего-навсего увидел свою смерть?

— Не может этого быть! Я скоро буду дома, и со мной снова будут мама, Надя, Танюша..., — произнес Мака и заставил себя открыть глаза.

По одежде ползали муравьи. Сколько времени он так просидел, неизвестно. Ясно было одно: нужно немедленно двигаться дальше. В теплушке или пешком, это все равно. В Тбилиси он решил непременно написать пьесу.

Еще неизвестный драматург уж было почти встал, как неожиданно для себя увидел чудо: кустарник с ягодами! Он бросился к ним, казалось, что никогда не наестся, он совсем не чувствовал вкуса. Хватал их и хватал, глотал не прожевывая, забыл обо всем на свете, и как зачарованный поднимался вверх, но вдруг.

Его что-то остановило, он прирос к месту, остолбенел. Перед ним метрах в десяти отчетливо пронеслась тигриная шкура. Мертвая сцена, длиной в бесконечность. А уже потом он почувствовал боль в пальцах ног — пошевелил, онемение пальцев рук — преодолел, теперь холод пробежал по спине. Нет, стало жарко и закололо будто иглами в конечностях тела. По лбу потекли капли пота.

“Главное — не терять достоинства!” — пошутил над собой и медленно попятился назад, постоянно озираясь вокруг. А так хотелось бежать, бежать что было сил, не оглядываясь. Но сил не было. Все тело заостенело, и он едва мог переступить ногами по траве. Прислонился спиной к дереву, прислушался.

Мгновение, — он увидел взгляд. Нет, он отчетливо его почувствовал. Это невозможно не ощутить, невозможно ошибиться. Он явно испытывал на себе этот пристальный взгляд желтых глаз, он даже встретился с ними, но лишь миг, и вновь тишина, снова никого.

Кажется, он постарел лет на пять, когда наконец доволочился до следующего дерева и спрятался.

Даже за колонной на мосту в Киеве, когда он бежал от синезупанников, было не так страшно. Да, не так. Было страшно по-другому.

Адское время восемнадцатого года. Киев брошен, сдан Петлюре, город наводнен трупами офицеров. Кругом изуродованные тела, отрезанные головы, до подбородка распоротые животы. Ничего не понятно, полная неизвестность и постоянно меняется власть: красные, поляки, немцы, Петлюра, националисты, сержупанники, деникинцы, синезупанники. Мобилизуют то одни, то другие. От последних смог отстать на мосту, и тоже вот так вот крался, прятался, потом отсиживался в каком-то дворе, а на улице не было ни души.

И здорово слег он потом. Все-таки трусоват. Боже, какие мысли приходят в голову? О чем он думает? И что страшнее? Петлюра, который распорет брюхо, или тигр, который не оставит ни кусочка? Вот он! Крадется, издевается, сукин сын. Бедный писатель увидел тигриную морду, торчащую из-за дерева, но облик мгновенно растворился в листе, будто его и не было. Да ну, какой тигр? Откуда вообще может тут взяться тигр? Все это просто галлюцинация! — Он засмеялся над собой и закрыл глаза. Потом открыл, и действительно, никакого тигра не оказалось.

Хотелось пойти спокойно к поезду, найти своих, пока еще не поздно. Хотелось сделать хотя бы вид, что это возможно. Хотелось просто обмануть себя. Он весело пошел и четко услышал шаги за спиной, шаг в шаг, будто кто-то проник в него и преследовал, словно тень.

Писатель ускорил шаг, за спиной шаги стали быстрее, слышнее. Он побежал и уже чувствовал, как тигр почти впивается ему в шею, ощущал его шершавый язык, клыки. Боль!

И тишина, покой, нет ничего. Он открыл глаза, пытаясь понять, что с ним, где он.

Быть может, все это сон, бред, быть может, он все еще едет в поезде, а может, вообще ничего никогда не было?

Ни восемнадцатого года, ни морфия, ни тифа, ни рожавших женщин, ни распоротых животов, а вот сейчас он проснется, и отец будет еще жив. Отец...

Что сделал бы отец, окажись он тут? Он вряд ли бы испугался, он умел верить. Так вот зачем нужна была эта вера... Он поднялся с травы, отряхнулся. Наверное, потерял сознание. От чего? Ну, просто от голода. А разве не было ягод? Все смешалось в голове, перепуталось. И не было никаких ответов на вопросы, возникающие снова и снова. Очень хотелось оказаться сейчас в теллушке. Зачем он побежал в лес? Кто заставил его выскочить посреди пути и бежать в адский лес в пасть к самому сатане? Беглец понял, что бежать больше не станет.

Он медленно пошел вниз, стараясь сохранять остатки разума, в который верилось уже весьма с трудом.

А рядом по параллельной дороге тихо шел огромный тигр. Человек видел его боковым зрением, чувствовал его желтые глаза на себе, слышал шорох листьев, тяжелые шаги, опускающиеся на траву.

А может, это и не тигр вовсе? Мурашки побежали по всему телу, снова и снова обдавая волной. Тогда кто же это?

Что? Этот тигр будто не жив уже, или совсем что-то...

Писатель остановился, спрятался за деревом, стараясь почти не дышать, а сердце стучало так громко, что тигр — или не тигр — мог услышать его биение.

Мелькнула мысль залезть на дерево, но благо вторая мысль пришла так же скоро: тигры умеют лазить по деревьям, и будет совсем неприятно, если эта тварь вздумает его оттуда "снимать".

Раздался гудок поезда. Он вздрогнул. И вдруг громко зашел:

— Дивные очи, очи как море...

Сначала было очень страшно, голос дрожал:

— Цвета лазури, небес голубых...

Ему так хотелось спрятаться, а вместо этого он вопил что было сил:

— То вы смеетесь, то вы грустите...

Страх будто выходил у него изо рта:

— Знать не хотите страданий моих...

Он шел и громко пел, куда не оказался у железной дороги...

Жуткие воспоминания прервал изумительный запах Марусиных пирожков, который просочился через дверь и издевательски распространился по комнате. И непризнанный певец неожиданно осознал, что зверски голоден, и тихонько прокрался в столовую:

— Товарищ Маруся...

Маруся взвизгнула и покраснела.

— Напугали, Михаил Афанасьевич, Бог с вами, — взглядывалась она ему в лицо голубыми глазами, будто ища в нем чего-то необычного. Последнее время они частенько смотрели на него так. Люба, Марика и многие-многие. Все ждали, что же теперь он сделает, теперь, когда вся жизнь его летела к чертовой матери.

Марика, так называл ее писатель, недавно приехала из Грузии. Мака с женой настояли, чтоб она непременно остановилась у них. Спала она на узком диванчике в столовой, рядом с комнатой Любы.

— Мария Артемовна только что вниз, в лавку, ушла. Звонила Любовь Евгеньевна, велела накрывать на стол. А вы что-то хотели? — поспешила прервать паузу Маруся.

— Мне плохо, Маруся... Умру я сегодня. — Обессиленный артист упал на стул и закатил глаза, но увидев перепуганное вытянутое личико Маруси, тут же расхохотался: — Да что вы смотрите на меня так, Марья! Я скорее умру с голоду, если еще буду дышать этими вашими запахами. Я смерть как люблю ваши пирожки!

Знаменитый симулянт схватил пирожок со стола и выскочил в коридор. Там уселся на лесенке возле своего кабинета и в задумчивости положил голову на ладони.

Конечно, это был не тигр. Оставалось либо признать, что у него тогда случилось временное помешательство, либо... Об этом и говорить не хочется, но именно о нем он хочет писать свой роман..

Он преследует до сих пор, тенью крадется по пятам, идет по параллельной дороге и требует, чтобы о нем непременно сказали. Или же не требует?

Мастер с грустью смотрел, как серый котиче несется из коридора в столовую, но заскользил на полу: пузо перевесило, и Флюшка пролетел мимо. Поняв, что он опять не вписывается в поворот, кот бросился к дверям, вскарабкался на черное пальто хозяина. Пальто упало, посыпалась мелочь. Флюшка с испугу драпанул обратно и взлетел на шторы.

Замер и, вертя головой, глядел вниз своими перевозбужденными горящими глазенками. Отдышавшись, кот начал потихоньку сползать, перебирая лапами по шторе. Когти застревали в ткани, он их отдирал и аккуратно спускался.

Усевшись на подоконник, кот начал умываться с видом, что называется “назло врагам”. Бутон сдвинулся и лег посреди комнаты, изредка покачивая хвостом. Флюшка затаился. Вдруг показался один сверкающий хитрый глаз из-за шторы. Потом серый интриган устало прыгнул и лениво поплелся к кабинету мимо Бутона, разумеется.

Возле пса остановился, начал потягиваться. Бутон негромко зарычал. Флюшка, недоумевая, взглянул на него сверху вниз и демонстративно вразвалочку пошел мимо. Кот был напряжен, собран, но храбрился. Шел медленно, показывая, что он не трус и бояться всяких там собак не собирается. Бутон рывкнул, Флюшка бешено мяукнул, отлетел на пару шагов к кабинету и злобно оглядел псину. Бутон лаял, но не приближался. Флюшка с глухой недовольной физиономией презрительно тарашился на пса.

Дверь в прихожей открылась, и на пороге появились Любовь Евгеньевна и Мария Артемовна. Бутон бросился встречать хозяйку. Мака встал на просцениум и приветствовал.

— Здравствуйте, мама! Коты и папа умирают от голода, они обещали поколотить всю посуду в качестве забастовки. И клянусь бабушкой, они это делают!

— Тиш, тиш, тиш... — успокаивала Любаша, — Мака, как тигр из книжки Федорченко “Всегда не сытый, на весь мир сердитый”, — шепнула она Марике и засмеялась.

— Об чем это вы? — улыбнулся “котовский” папа, спрыгнул со ступеньки и направился своей развязной походкой через столовую к дамам. Он обычно держал левую руку в кармане, от чего левое плечо немного приподнималось.

— Ну что там на занятиях, Любанга? — спросил заботливый муж, забирая у нее пальто.

— Меня знает уже вся Москва, все кто ни проезжает, сигналият и приветствуют!

— Любан, может тебе на мотоцикл, а? — подмигнул ей заговорщически Афанасьевич.

— По мне лучше верховая езда!

— А вот твой “начальник” злоеще намекает, что лучше не надо. Да и где уж тут кататься, Люба? Если только среди трамваев? Тем более, что теперь овес достать невозможно. И я тебе скажу, недолго осталось лошадям по мостовым разгуливать!

— Не все же могут позволить себе мотоцикл, Мака, — намекнула она на Булгакова.

— Ну, теперь скорее грешно на лошадях. И потом, я сегодня, как честный гражданин, передвигался на трамвае. Как раз возле тебя проезжал.

— Что, за мной следил?

— Нет, всего лишь за тигром в клетке, — вздохнул писатель.

— И как тигр?

— То была тигрица. И не спрашивай, — таинственно махнул рукой писатель.

— Кстати, скоро к нам Петяня пожалует мыться, у них воду отключили.

— Значит, сегодня — блошинные бои! — обрадовался Мака, и глаза засияли, как у ребенка.

— Блошинный царь Мака — принимает у себя своих подданных.

— Тогда бегу к себе, мне до зарезу надо закончить одно дельце, — “блошинный царь” поднялся к своей комнате через две ступеньки и скрылся за овальной дубовой дверью в своем царстве-кабинете. С Петяней дружили они еще с “крюковских” времен, самых незабываемых, веселых и беззаботных дней, когда гостили у Лидии Митрофановны на даче.

Помнится, жило в ее доме невероятное количество народу, всех сразу и не сосчитать. Одна только семья ее чего стоила. Петька жил по соседству, приходил ежедневно и всем очень нравился своим добродушием. Каждый вечер все собирались в гостиной, и начиналась бурная жизнь.

Как-то даже затеяли духов вызывать. Мака в предвкушении наслаждался! Когда выключили свет и Сережа зауспокойным голосом произнес: “Дух, ты здесь?”, наш писатель ждать себя не заставил. Он тихонько начал шевелить стол, потом спрятанным за пазухой прутиком стал гладить обезумевшие головы присутствующих. В конце пошла в ход редиска, прихваченная со стола. А вот редиску как раз бросал Петька! Эффект был: напугали эти разбойники всех до полусмерти. После сеанса Мака втихаря обсуждал с Петькой происшедшее, а Любовь Евгеньевна подслушала ненароком, но промолчала: муж уговорил за три рубля. Однако публика не унималась, и на следующий день Елена Яковлевна, младшая дочь Понсовых, Петьку дожала и потребовала от него клятвы в том, что он не имеет отношения к духу-разбойнику. Ну а так как знала из семьи его только бабушку, то приказала клясться бабушкой. Мака с женой притаились и ждали развязки, когда наконец услышали фальшивый Петькин голос: “Клянусь бабушкой!” С тех пор в этой семье клянущая исключительно бабушкой.

Женщины стали накрывать на стол. Флюшка с поднятым хвостом бежал взад-вперед, умоляя его накормить. Он “орал”, смотрел глазами умирающей Дездемоны, заглядывал в миску и еще между делом старался отодвинуть Бутона, который был тут и беспредельно мешал.

Улучив момент, Флюшка выкрал кусок колбасы из тарелки со стола, зарычал и поспешил удалиться в кабинет хозяина, который тоже считал своим собственным.



Должно заметить, что, несмотря на безденежье и “многообещающее” будущее, “стол” еще не опустел и двери в этот дом по-прежнему для всех открыты. Бедный писатель всегда жил “сегодняшним” днем, и “сегодня” он непременно должен жить на широкую ногу, как говорится.

— Батюшка, идите кушать, — позвала Маруся Бутона, который лежал в коридоре и наблюдал за приготовлениями. Флюшка сидел возле кабинета, опустив смиренную голову, и клевал носом в дверь.

— Макочка, и прихвати с собой свою свиту, а то вон сидит наш подхалимник несчастный. В царство его не берут!

— Какую свиту? — отворив дверь, просунул нос блошинный царь Мака.

Перед ним сидел самый несчастный кот на свете. Писатель сжалился, открыл ему, и Флюшка по-королевски медленно поплелся через щель в кабинет, стараясь это делать как можно дольше в отместку за то, что его так долго не пускали.

В комнате уже потемнело, на столе горели канделябры и синий абажур. Мастер сел у окна. Флюшка рядом, присел подышать свежим воздухом.

— Нет, не люблю я тигров, что поделать? — обратился он к коту, который мурлыкал от удовольствия после удачно сворованной и съеденной им колбаски. — Ну и зачем еще один Хлудов?

Имелся в виду Хлудов Михаил Алексеевич, известный купец-меценат, который приручил тигра, словно собаку. Однако когда тигр лизал ему руку, то разлизал ее в кровь. Тогда Хлудову, разумеется, пришлось убить разволновавшееся животное.

— Вот так всегда: то пишу, не могу оторваться, то по одному слову в день! Но каково это было, а? Тигрица-то точь-в-точь, как моя! Туранская, оказывается. И не напрасно я поехал туда, — объяснил писатель “собеседнику”.

“Туда”, имелось в виду, в Московский зоопарк, в котором два года назад открылась дополнительная территория, Новая. Направился писатель напрямиком к “Острову зверей”, где и встретился со “своей” тигрицей. На этот раз отделял их глубокий ров. Она ли это? Как знать, во всяком случае, привезена она была точно не из Баку. Тигрицу звали Тереза, и появилась она здесь в двадцать шестом году с легкой руки советского посла, вернувшегося из Ирана.

— А представляешь, если я встретил “ту самую”? А я был так уверен, что не мог он быть там, в Баку, ты понимаешь?

Ан нет... Мог, оказывается! И еще как был! Туранские тигры там прекрасно себя чувствовали в те самые времена, ты можешь себе представить? Но не дает он мне написать о себе, этот черт собачий, этот дьявол, интеллигентная мразь этакая! Да и потом, как ты себе это представляешь: живого тигра, разгуливавшего в центре Москвы? Никуда это не годится, мой друг, ни-ку-да.

Вдруг писатель сжал голову руками и прошептал:

— Ох, и все-таки трус я. Кто я такой, чтобы сразиться с самим дьяволом? Но они должны знать. Быть может, кто-то довершит начатое. Пора признать, что все-таки это был не тигр. Ведь нет ничего страшнее страха. А зло, оно всегда рядом, оно было и будет, оно так мило, привлекательно, так безобидно на вид. Тигр — это слишком банально. Но тот, который сегодня милый котенок, легко в полумраке обернется чудовищем. Не всякую собаку пускай в дом: не известно еще, чем она выйдет из-за печи.

Мака начал аккуратно убирать тетради в ящик. Флюшка сидел на подоконнике и вдруг, завидев на улице кота, весь изогнулся вопросительным знаком, шерсть встала дыбом. Взъерошенный кот встал на “мысочки” и зарычал “нечеловеческим голосом”, высунув устрашающую морду из окна.

— Прям, как тигр, — засмеялся писатель. И тут все встало на свои места.

— Как тигр? — мастер вытаращил глаза на разъяренного зверя, будто видит его впервые в жизни.

— Ну конечно! Вот же он! Мой настоящий тигр!

Мака схватил листок и начал писать. Мысли неслись потоком, образы

возникали вновь и вновь, сменяя один другим, и он, не в силах остановиться, пачкал листок за листком. Слова лились из-под пера, словно музыка:

“Перед камином на тигровой шкуре благодушно сидел, уставившись на огонь, черный котиче.

— Эти дурацкие тигры своим ревом едва не довели меня до мигрени, — сказал Воланд.

— Прошу послушать, — отозвался кот и, жмурясь от удовольствия, рассказал о том, как однажды он скитался в течение девятнадцати дней в пустыне и единственно, чем питался, это мясом убитого им тигра. Все с интересом прослушали это занимательное повествование, а когда Бегемот кончил его, все хором воскликнули:

— Вранье!

— И интереснее всего в этом вранье то, — сказал Воланд, — что оно — вранье от первого до последнего слова.

— Ах так? Вранье? — воскликнул кот, и все подумали, что он начнет протестовать, но он только тихо сказал: — История рассудит нас”.

Закончив на этом, Мака вырвал листы с тигром из черновика и бросил их в печь.

## ВЛАДИСЛАВ ПАСЕЧНИК

# МАКСИМ

### РАССКАЗ

Рассвет выгнал Максима Курилко из траншеи. Он выбрался наверх, уставший, голодный и почти незрячий после громкой бессонной ночи. Вчера был дождь, в траншеях стояла мутная вода. Курилко набрал ее во флягу, бросил туда таблетку очистителя и, не дожидаясь, когда она растворится совсем,пил жадно.

Ночью он отстал от своей роты. Была страшная суматоха, наступали без команды, без смысла. Когда приходили приказы, было уже непоправимо поздно, уже рвались снаряды, и сотни людей становились глиной...

На земле, в рытвинах от колес, стояла маслянистая вода. Овраг справа от дороги был забит человеческими и конскими трупами, в небе кружились вороны. Вдалеке горел город. Всюду на земле лежали мертвые люди: свои, враги, и даже страшные штурмовики-“западники”, “законченные”, еще живьем мертвые люди. Вчера прибыли они с западного фронта, на десантном корабле, увешенные орденами, — гордые и опасные, — вчера они бросили в порту своего командира, и двинулись вперед, и всю ночь рокотало впереди, и в небе и в траншеях было беспокойно, а он, Максим, — из простых сол-

---

*ПАСЕЧНИК Владислав Витальевич родился в 1988 году в Барнауле. Окончил Барнаульский государственный педагогический университет. Печатался в журналах “Барнаул”, “Алтай”. Живёт в Барнауле.*

дат — сидел под дождем, накинув на себя отпоротую половину плащ-палатки.

Эта половина и сейчас была при нем. Плащ-палаткой с ним поделился сержант Клипин. Свою Максим сдал в хозяйственный обоз, как раз перед тем, как загрохотало — в небе и на земле. Теперь брезентовая половинка тяготила его смутным беспокойством. “Увижу Клипина — верну”, — решил Куришко.

Солдат шел вдоль дороги. Он, кажется, совсем потерялся, вокруг не было ни одного живого человека, а только трупы и взрытая земля. День был жесток к солдату. Он принес холодный северный ветер и тучи воронья. Вороны садились на ветки, прыгали среди неподвижных тел, клевали у трупов глаза, а главное — гремели в зияющем небе над головой Максима.

И вот Куришко, бывший охотник, остановился, вскинул винтовку и сделал выстрел в небо, по стае. Одна из ворон упала на землю. Стая рассыпалась со страшным гвалтом. Бывший охотник выстрелил еще раз, а потом еще и еще. После каждого выстрела на землю падал мертвый враг...

Максим торжествовал молча. Про себя он думал, как правильно и хорошо, что он, — уже теперь не совсем солдат и совсем не человек, — вот так стоит и стреляет по воронью.

Вороны разлетелись прочь. Их черное войско было разбито одной только винтовкой Мосина. Пространство вокруг прояснилось, не стало хриплого карканья, и солдат отправился дальше. Спустя какое-то время он обнаружил, что дорога, по которой он идет, ведет его не к цели, не к горящему городу, где еще слышались выстрелы, а куда-то в сторону. Но он не замедлил шаг, внутри у него что-то еще надрывалось вороньим гвалтом, а в ноздрях свербил запах прибитой пыли.

Откуда-то из-за поворота появилась полевая кухня. Она двигалась торопливо и шумно, подпрыгивая на ямах и кочках, испуская клубы ядовитого дыма. Кухня двигалась, не сбавляя скорости, и не было сомнения, что она промчится мимо.

Тогда Куришко, у которого еще оставалась граната, снял с пояса эту гранату и вышел на середину дороги, расставив руки в стороны. Кухня громко чихнула и встала. Из нее выскочил уставший солдат, — шофер с замученным лицом. Он понял, чего хочет от него солдат, что не ел он, наверное, очень давно. В машине были теплые хлеба, теплые, как разогретые валуны, шершавые и темные. Куришко жевал хлеб сосредоточенно, тяжело вздыхая, проглатывая сразу помногу. Ничего не занимало его в эту минуту, кроме еды. Рухни сейчас холмы и скалы, окружавшие его, он ни за что не прекратил бы есть.

Вот пекарня уехала, и Куришко двинулся дальше по дороге и вскоре вышел к широкой бухте. Солнце поднялось уже высоко, и можно было скинуть с себя всю одежду, и побежать по пляжу, окунуться в холодный прибой, и поплыть прочь от берега. И вот он, тот, который никогда еще не плавал, вот так, голышом, в море, заплыл очень далеко, так что и забыл про берег, и течение подхватило, одолело его, и не мог он ничего сделать, кроме как лечь на спину и совершенно отдаться ему.

И тогда из его тела вдруг ушла какая-то судорога, которой он прежде, кажется, и не замечал или успел каким-то образом к ней привыкнуть. И тогда пришло воспоминание — короткое, смутное как позавчерашний сон, о том, что осталось в траншее, скрытое грязной водой... Максим выбросился на сушу, рыхлый как морская пена, и высох, остался на камнях тонким соляным осадком. Когда же он пришел в себя, вокруг по-прежнему не было ни души. Солнце стояло в зените, где-то вдали польхал город.

На камнях среди одежды лежал обрывок плащ-палатки.

“Нужно вернуть”, — вспомнил Максим.

Он смешно прыгал на камнях, натягивая порты, когда со стороны города появился человек, японец. На нем не было погон, но по костюму и выправке в нем можно было узнать офицера. На лбу у него белела марлевая повязка. Максим нагнулся за винтовкой, да так и замер, не сводя взгляда с японца: таких убивали, не пропускали мимо. Офицер тоже остановился и смотрел на солдата.

— Иди, — прошептал Максим одними губами. — Иди.

Офицер, конечно, ничего не мог услышать, но почему-то понял намерение Максима и двинулся дальше. Вид у него был, кажется, такой же потерянный, как и у Куришко. Затем он исчез, и Максим тут же забыл о нем. Он решил, что теперь надо идти в город. До того он не вполне понимал, что зачем делает, но теперь не было в нем прежней непонятной судороги, и он знал точно, что нужно найти своих и нужно отдать зачем-то Клипину его брезентовую половинку.

Дорога к городу поднималась от самого берега. Среди холмов виднелись просевшие обвалившиеся доты. Холмы, еще утром неприступные, кишевшие злой пчелиной жизнью, теперь были пусты. Только кое-где ходили страшные люди с винтовками — высматривали, не шевелится ли кто среди обломков. По дороге навстречу Куришко шла колонна пленных — уголовники вели арестованную жандармерию. Зеки шли гордые, довольные тем, как распорядилась ими судьба. Вчера они напоили водителей и двинулись в город. К утру улицы уже были охвачены пламенем, а земля дрожала от страшного мужицкого разгула.

— Не видели сержанта Клипина?

— Клипина? Не знаем такого.

Вот и город. Воздух в нем был сизый, потяжелевший от дыма. “Западники” захватили спиртзавод и выставили по периметру бойцов с винтовками. Всем желающим разливали спирт — во фляги, и в банки. Возле ворот дымил штурмовик, — из самовольных атаманов, — уставший мужик с недавним шрамом на шее.

— Это немец штыком меня, — рассказывал он, поглаживая острый кадык. — Я тогда чуть-чуть не кончился.

Командир штурмовиков, молодой полковник, стоял тут же, курил рассеянно, то и дело одергивая китель, касаясь невзначай кожаной портупеи. Лицо было серым и неподвижным. Вчера он, гордый и грозный хищник, стоял на носу десантного корабля. Вчера он велел штурмовикам остаться в порту и ждать прибытия генералов, но кто-то из них, из этих закопченных, замасленных солдат — может, и тот, что болтал и чесал кадык сейчас, — кто-то из этих бандитов крикнул ему: “Командир, оставайся в порту, остальные за мной!”. И ничего не мог сделать полковник, кроме как нервно вытянуться перед этими бандитами, не сказав ни слова, сжав зубы.

Приехали генералы. Приехали, все поняли без вопросов, покачали головами. “Мы так и думали”, — сказал один. “Это вина не ваша. У них там свои... “командиры”, — сказал другой, — все мы понимаем”. А полковник стоял перед ними нервно-навытяжку, как будто мученическая поза могла что-то изменить или как-то оправдать его беспомощность.

— Не видели ли сержанта Клипина? — спросил Максим штурмовиков.

— Нет, не видели, — отвечали западники угрюмо. — А ты не стой, сядь что ли, выпей с нами.

— Да не могу. Мне найти надо.

— Ну, хоть во флягу намери!

— Во флягу — можно.

На окраине стоял буддийский храм. Во дворе лежал мертвый монах в странной одежде с желтыми кисточками. В храме хозяйничали саперы — день кончался, в воздухе звенели комары. Куришко остановился возле монаха. Неподалеку сидели саперы. Они вели свою беседу, глядя на мертвого человека в диковинных одеждах, ровно и бесстрастно, как на что-то простое и ясное, вполне приемлемое в их беспокойных жизнях.

— Форсировали мы реку, — говорил один из них. — Ну как мы... я и еще один дурак... переправили нас на “амфибиях”, высадили, дали по железному пруту, идите, мол, пошукайте — нет ли на берегу мин. Я вот сейчас думаю — может, на нас хотели огонь вражеский вызвать? А тогда не думал. Ну вот, иду я, значит, гляжу — домик двухэтажный, ага... во дворе кони запряженные. Я, дурак, захожу внутрь, смотрю — котелок с кашей, нож с костяной ручкой, да фуражка офицерская. На второй этаж отчего-то ходить не стал. Кашу съел, нож прихватил. А потом уже, когда в наступление пошли, туда наши командиры сунулись — нашли на втором этаже трех японцев... кокнули их, конечно... а представляете, если бы я туда сунулся?

— Не видели сержанта Клипина? — спрашивает их Максим.

— Клипина? — заговорил кто-то из саперов. — Ну видел я вашего Клипина. Он, с двумя дурнями дот закрывать пошел. Его из того дота пулеметом и прошло. Только и видно было, как патроны из патронташа на землю сыплются.

— Вот как получается... — Курипко выпросил у сапера папироску, закурил.

— Спирт есть? — спросил кто-то.

— Ну, есть немножко, — Курипко показал флягу.

— Это хорошо. Оставайся тут ночевать, — сказали саперы. — Мы здесь денька на два задержимся.

— Ну хоть и так... — согласился Курипко, думая про себя, как бы ему отыскать своего командира.

Заночевать в храме не получилось — через час всего явился к ним какой-то человек в штатском и велел уходить.

— Местные вам монаха не простят, — говорил он нервно.

— Мы что ли попа этого убили? — возмущались саперы. — Мы, когда пришли, он уже готовенький лежал.

— Все равно уходите. На сопки уходите, там и переночуете. А здесь нельзя.

Когда поднялись на сопки, сделалось уже темно, да к тому же с моря поднялся густой туман. Курипко вдруг оказался один, пробовал кричать, но не докричался, а только сорвал голос.

Тогда он нашел себе укромную впадинку, постелил на землю плащ-палатку и задремал. Было темно, сыро и тепло. Курипко задохнулся от этого морского духа и быстро заснул. Последнее, о чем подумал, было то, что сержант Клипин пожалничал и мог бы отдать ему всю плащ-палатку, прежде чем умереть.

Он спал уже крепко, когда чья-то рука больно толкнула его. Максим открыл глаза. Над ним склонился японец, точь-в-точь как тот, которого видел Максим в бухте. Курипко зажмурился и тряхнул головой. Японец не исчез, и это точно был он! Даже повязка, кажется, была на прежнем месте, только чуть-чуть съехала на висок от сырости. На плечах были тени от погон.

Еще был густой туман, и лицо японца выступало из серой мглы, как лицо привидения.

Он произнес что-то и махнул рукой. Максим приподнялся, упершись локтем в холодную сырую землю. Все тело болело от холода. Он, наверное, замерз бы насмерть до утра.

Японец снова махнул в сторону, и Курипко, наконец, увидел неясный огонек вдали — искорку костра. Чей это костер? Друзья или враги греются возле него?

Максим встал и нетвердым шагом двинулся к огню. Японец шагнул в туман и навсегда исчез.

Костер был уже совсем близко. “Наши! По-нашему говорят! — понял Максим радостно. — Да это же из моей роты!”

Возле костра сидело десять человек, знакомых и незнакомых. Говорили негромко, поминали погибших, среди прочих и Клипина, пили спирт со спиртзавода.

Когда Максим шагнул к костру, все разом замолчали и неподвижно уставились на него. Лица некоторых вытянулись от удивления.

— Курипко! — вдруг раздался голос ротного. — А я тебя в мертвые записал! Сам же видел, как рядом с тобой мина рванула!

— Я живой... — слабо улыбнулся Максим. — Меня землей присыпало, а так живой. Холодно здесь. Пустите к огню.

И вдруг он почувствовал, что прежняя судорога вернулась к нему, и теперь, уже, наверное, не оставит его до самой смерти. И подумалось ему отчего-то, что через много-много лет не будет помнить дня, в который ходил по земле, будучи мертвецом. Разве что вспомнится ему из всей этой странной жизни то, как он плавал в море первый раз в жизни и как в болезненной звенящей тишине шептались волны Охотского моря.

## ПОКА СТОЯТ ХОЛОДА

### РАССКАЗ

Трамвай медленно подкатил к остановке. Анна вошла в открывшуюся дверь.

— Я всё-таки тебе через пару дней позвоню. Ты подумай ещё, — глухо сказал Северцев.

— Нет, извини... — как чужая, ответила она и отвернулась. Блеснув стёклами, двери закрылись.

“Ну и катись ко всем чертям!” — зло прошептал Северцев и отчаянно зашагал ко входу в метро, почему-то с ненавистью глядя на светящуюся букву “М”... Сидя в вагоне, тоскливо стал вспоминать, что последние дни Анна была почему-то холодна, грустна. А сегодня она прямо заявила, что решила расстаться с ним, поэтому встреча в этот вечер оказалась последняя. Северцев чувствовал пустоту, горечь... Что случилось? Почему она так изменилась?

Северцев уже четырнадцать лет работал в одном московском институте, десять лет назад защитил диссертацию. Имел степень доктора биологических наук, получил должность профессора... Ему было пятьдесят два, Анне тридцать пять. От знакомства с нею он ждал многого: настоящей любви, создания семьи. Северцев никогда не был женат. Первый месяц всё шло радостно, легко, гладко, но вскоре зародились тревожные опасения: “Слишком уж тихо! Это штиль перед бурей!”

И он оказался прав.

Северцев не знал, что он сделал не так, не понимал, чем не понравился или отпугнул. Он был прекрасно воспитан, в общении очень тактичен. Внешне, пусть и не красавец, но, несомненно, вполне обаятелен. В чём же дело, чёрт подери?! Он видел в отказе Анны высокомерие, убеждённую в каком-то превосходстве перед ним. Это задевало его самолюбие. Северцев ощущал, что его как будто обокрали, обошлись с ним несерьёзно, и это представлялось ему чуть ни оскорблением. Чем же он разочаровал её?

Северцев не имел большого успеха у женщин, трудно сходился с ними, и каждый раз его отношения с ними обрывались — не по его, а по их вине, как был убеждён он. Наступал, как говорится, один прекрасный день — и избранница говорила, что хочет расстаться. Северцева это приводило в бессильное бешенство, потому что он не видел причин для расставания, не понимал, чем не угодил — и подчас мысленно слал страшные проклятия тем, кто его бросал... И вот теперь то же самое и с Анной: очередной крах.

Вернувшись в этот вечер домой, Северцев выпил полстакана водки. Захмелел, немного успокоился.

Жил он один в двухкомнатной квартире. Родители умерли... Северцев заведовал биологической лабораторией и уже полтора года бился над своей теорией, пытаясь её экспериментально доказать. В институте теорию поддерживало очень мало коллег, и руководство всё чаще подумывало приостано-

---

*ТИМОФЕЕВ Никита Анатольевич родился в 1988 г. в г. Москве. Окончил филологический факультет Московского педагогического государственного университета. Аспирант кафедры русской литературы. Живёт в Москве.*

вить эту работу и распустить группу Северцева. Он боялся этого как огня и каждый день, приходя в институт, опасался, что вызовут к начальству и скажут, что, мол, “закрываем лавочку”. Он же был до маниакальности убеждён в своей правоте, но нужных результатов его эксперименты пока что не давали. Северцев был уверен, что его открытия будут чрезвычайно важны для медицины, что они помогут многим людям. Неужели же начальство не понимает этого и посмеет закрыть эксперимент?!

Кроме науки, он всерьёз занимался сочинением музыки. Северцев однажды случайно встретился во время отдыха в санатории с известным композитором Д-чем. Тот, узнав, что профессор биологии — ещё и музыкант-любитель, заинтересовался и попросил его сыграть что-нибудь из своих произведений. Они пошли в актёрский зал, и на стареньком фортепиано Северцев исполнил пару своих пьес. Композитор послушал и сказал: “Вещи очень своеобразные, оригинальные, я вижу талант”. Но потом, помолчав, вздохнул и заметил, что вместе с тем музыка показалась ему “холодной, как гранит”. Что он имел в виду, Северцев не понял, однако расспрашивать не стал.

Отдых кончился, больше они не встречались. Но Северцев продолжал писать — для себя...

...Во вторник он пришёл в институт и по встревоженным лицам своих коллег догадался, что, видимо, худшие опасения начали сбываться. Сердце упало.

— Иван Николаич, нас закрывать собираются! — испуганно сообщила Маша, лаборантка.

— Чёрт бы их драл... — задыхаясь, прошептал Северцев и помчался к директору НИИ. Состоялся недлинный и неинтересный разговор. Неинтересный потому, что Северцев понял: директор для себя уже всё решил. На следующий день было назначено специальное собрание и обсуждение с целью вынести решение по вопросу.

Северцев присутствовал на этом собрании.

Сел в углу и слушал, нервно барабанил по столу пальцами.

— Положительных результатов никаких. Отрицательных — масса... Всё бело как день! Все эти обещания товарища Северцева, что, мол, он именно сейчас уже на самом пороге открытия, а мы, мол, в такой ответственный момент не даём ему времени — это просто курам на смех! Мы эти уверения слышали ещё полгода назад, так что увольте... Короче говоря, это просто трата бюджетных средств на весьма сомнительное дело, — блестя глазами, гнусавил пожилой профессор Федичев.

Он говорил долго, со скучными и однообразными интонациями, то и дело вскидывая худую руку с сиреневыми венами и, взглянув мельком на коллег, снова поворачивал боком, по-птичьи, седую голову, как бы желая этим движением показать, что вообще не видит причин долго говорить на эту тему, поскольку всё и так ясно.

Северцев сидел мрачный, злой, нехотя поглядывая на возню ворон в ветвях тополя за окном. Накрапывал дождь, на стёклах блеснул бисер капель.

...Было решено: работу остановить. Северцев, подавленный, злой, молча вышел из зала, где проходило собрание. Звук шагов гулко отдавался в пустом коридоре. Северцев зашёл в лабораторию, коротко объявил: “Ребята, сворачиваемся: работу прикрыли” — и быстро удалился.

Вечером отправился пройтись: сидеть дома одному и думать о закрытии эксперимента было нелегко. Северцев бродил, пока не стемнело.

Потоки автомобилей мчались в противоположных направлениях. Стоял тот неудобный уличный шум, от которого хочется убежать куда-нибудь подальше, в тихое место. Северцев думал о разных вариантах дальнейшей работы над теорией, но в какой-то момент с полной обречённостью понял, что теперь уже ничего не сможет сделать...

Он остановился посреди тротуара и простоял так минуты две, пока не заметил, что мешает прохожим идти. “Чё встал на проходе...” — раздражённо кинула какая-то женщина. Северцев провёл рукой по лицу и удивился: на пальцах заблестели слёзы. Он поспешил отойти к ограде парка. “Не хватало ещё плакать у всех на виду...” — подумал он и, чувствуя покалывание

в носу, достал платок. В сумрачном парке желтели игольчатыми звёздами фонари по краям аллеи.

Северцев поплёлся вдоль ограды.

Дул сырой ветер, забираясь ледяными невидимыми пальцами под шарф и в рукава плаща. Несчастные жухлые листья, которым не было покоя, неслись по асфальту, кувыркаясь... Северцев взялся за холодные прутья калитки, толкнул. Раздался тугой скрип.

В парке никого не было... Сел на скамейку, приподняв воротник плаща. “Господи...” — сдавленно прошептал Северцев, наклонившись и закрыв лицо руками. Домой ехать не хотелось: представляя тёмную пустую квартиру, где его никто не ждёт, он приходил в отчаянье.

Неужели они не понимают важность открытия, которое он мог бы сделать? Феदिщеву жалко государственных средств? Сколько их ворует, никто не считал, а здесь они могли бы принести конкретную пользу!.. Да, пока не получалось, но ведь надо было проверить всё до конца — не дали этого сделать... Северцев вскинул голову. Что ж теперь будет? Жизнь перевалила за вторую половину, молодость давно ушла, надежда создать семью призрачна... Отняли возможность заниматься делом всей жизни — проверкой сложнейшей теории... И теперь предлагают просто читать лекции!.. Кому они нужны!

Есть ещё отрада — музыка, но нет ни знакомств в музыкальных кругах, ни поддержки: дохлый номер! Что делать? Зачем жить? Северцев почувствовал, как начало давить в груди... Пройдёт восемь лет, и он разменяет уже седьмой десяток, там и старость близка, а всё так однообразно, перемены так маловероятны, новый, свежий ветер в судьбе так редок — что ещё ждать?! И на Северцева смутно дохнуло холодом тёмной бездны, в которой гасли смыслы, цели, убеждения, ответственность... Он испугался и отбросил это неведомое чувство, резко встал и пошёл вон из парка...

В понедельник были лекции на вечернем. Северцев читал, делая над собой усилие: до того не хотелось говорить. Мерк тусклый осенний день, лица студентов были тоже тусклые, скучные. Ходя взад-вперёд вдоль доски, Северцев медленно произносил сухие фразы, нехотя поглядывая на второкурсников: “Физиология человеческого организма...”, “Первая сигнальная система...”, и сам удивлялся глухому звуку своего голоса, с эхом отдававшегося в большой аудитории...

В перерыв большинство отправилось “проветриться” в коридор, но на переднем ряду остались сидеть молодой человек — в костюме, в очках — и несколько девушек. Северцев заварил чаю и устало сел за стол, со звоном болтая ложку в стакане. Начинала болеть голова.

— ...и нечего философствовать... Нужно просто жить, радоваться каждому дню... — с убеждённостью говорил студент своей подруге, у которой был кислый вид. Северцев сквозь пальцы руки, прислонённой ко лбу, взглянул на говорившего.

— Жить — тоже искусство... — страстно продолжал молодой человек. — Ты всё время пытаешься найти какие-то смыслы во всём, рефлектируешь, а надо просто жить... Главный смысл — сама жизнь!

Северцев смотрел на этого студента, торжествующего от своей мудрости в двадцать с лишним лет и, вероятно, изобретшего себе, а заодно и всему человечеству универсальные инструкции на все случаи жизни... Северцев почувствовал тяжёлую ненависть и желание подскочить и дать звонкую ошарашивающую оплеуху этому трепачу. “Надо просто жить...”, “радоваться каждому дню...” Тебе, чёрт очкастый, конечно, в твои двадцать с лишним лет ещё можно “просто жить” и “радоваться”, посмотрим, что ты скажешь, приближаясь к осени своей жизни...

Северцев закончил последнюю лекцию и вышел из института. Как назло, мотор старенькой “Волги” отказался заводиться. Сначала Северцев сам покопался, но ничего не смог. Позвал вахтёра Николая Иваныча: тот разобрался в машинах. Провозились чёрт знает сколько времени, но сделали-таки... На часах было уже пол-одиннадцатого.

Поехал по пустым улицам...



На одном из светофоров стоял, устало ожидая зелёного света. Вдруг кто-то постучал в боковое стекло. Северцев увидел немолодого мужчину, который виновато моргал и всем своим видом извинялся.

— Что такое? — опустив стекло наполовину, спросил Северцев, косясь на светофор: успеет ли до зелёного выяснить, что надо этому незнакомцу.

— Вы извините... — начал мужик, морща маленький, цыплячий нос и часто моргая масляными глазками. Пахнуло алкоголем... Одет, однако, был прилично.

— О-о-о... — учуяв запах, протянул с неприязнью Северцев и сразу махнул рукой.

— Подождите!.. Понимаете... — пожав плечами, затараторил мужик. — Я приехал из Череповца... К дочке на выходные... Сейчас был в гостях у друга... Автобус из-под носа ушёл, а следующий будет нескоро... Вы не подвезёте меня... Тут не так уж далеко... Знаете, торговый центр “Элита”?

Северцев знал, где это, но ему было не в ту сторону, хотя туда и обратно можно было обернуться за пятнадцать минут.

Светофор зажгёт зелёный.

— Нет, извините, не знаю, — сухо ответил Северцев.

— Я прошу вас... Да не бесплатно же!.. Я дорогу-то покажу... — залепетал мужик.

— Нет! Квасили б меньше — тогда и на автобус успели бы! — отрезал Северцев, чувствуя злобу и боясь не успеть проскочить перекрёсток.

В зеркале видел, как удалялась фигурка человека, растерянно стоявшего на краю тротуара. Потом исчезла за поворотом, и только зелёный глаз светофора помигал вслед машине.

“Нечего с таким и цацкаться... — решил Северцев, раздражённо отгоняя сомнения. — Пьёт, понимаешь, сидит в гостях до темноты, а я подвози. Ты спроси: удобно ли мне тебя везти? Тем более — я устал: уже язык на плече!.. Ничего, перебьётся... Автобус ему трудно подождать...”

Но, подъехав к дому, Северцев стал себя уже журить за то, что заупрямился: “Ну, подбросил бы мужика... Тем более он не москвич... Ну, ладно, что уж теперь...” Вздумал было вернуться, но... “Проезжу, чего доброго, впусую. Нет уж... Ну его! Меня вон никто не жалеет: завтра в шесть утра вставать!” — разлился Северцев.

Предполагал, что быстро забудет этот эпизод, но и за ужином, и позже, ложась спать, никак не мог отвлечься, всё думал: как добрался до дома тот мужик...

В конце ноября в одном университете проходила конференция по биологии. Северцев в сентябре дал согласие принять участие и, усталый, подавленный, без всякого желания ехал теперь туда, с длинным докладом о своей теории. Как назло, засел в заторе. Валил мокрый снег... Северцев боялся не успеть к началу пленарного заседания...

Опоздал. Войдя в актовый зал, с трудом отыскал свободное место. Сел, радуясь, что немножко удастся отдохнуть в удобном кресле. Глаза слипались... За окнами всё так же мелькал снег...

— Уважаемые коллеги! Позвольте поприветствовать вас на нашей конференции... Для меня большая честь... — начал выступать известный биолог, академик Иван Никитич Румянцев. Он, как знал Северцев, с недоверием относился к новым теориям, из которых, как он был убеждён, действительно заслуживают внимания только единицы. Сам себя Румянцев любил называть борцом с “лихачами в науке”, от которых, считал он, — только вред...

Через два часа начали работать научные секции. Северцев пришёл в аудиторию, сел в первом ряду с краю, ближе к двери. Скучные лица, вялые разговоры перед началом выступлений не внушали ему оптимизма. Кто здесь будет вникать в тонкости его теории? Кто поддержит? Никто, судя по всему.

В зал вошёл Румянцев в сопровождении ещё каких-то людей. Увидев, что тот садится за стол президиума, Северцев совсем пал духом и уже стал жалеть, что вообще приехал на конференцию. Этот академик будет тут председательствовать!

Вскоре все были в сборе. Румянцев произнёс вступительное слово, крат-

ко рассказал о своём пути в академики и пожелал всем служить науке по гроб жизни, после чего раздались аплодисменты. Греясь в почтительных взглядах простых учёных, среди которых было много молодёжи, старик, чувствуя себя светилом науки, скомкал лицо в лживо скромную гримасу и, опираясь на стол руками, медленно сел.

Начались выступления. Доклады были малоинтересные, от них веяло научным старьём; заметна была боязнь смелых мнений, отсутствовали мало-мальски оригинальные гипотезы.

Румянцев сидел весьма довольный.

Северцеву было тоскливо и противно. Толку в своём выступлении здесь он не видел, поэтому решил потихоньку уйти: наплевать! После очередного доклада встал, не глядя на сидящих в президиуме, поскорей вышел за дверь, быстро притворил её и зашагал по пустому коридору. “Занесло же меня сюда”, — подумал с досадой.

Хотелось есть, и он решил перед отъездом зайти в столовую. Там было малолюдно. Северцев взял порцию и сел у окна. За соседним столиком была какая-то студентка: пила сок и апатично листала учебник. За окном по-прежнему мело сырым снегом. Налетали мощные порывы ветра, и деревья содрогались.

Северцев ел, глядя на скучную, безвкусную роспись на стене столовой, и вдруг вяло подумал: “Не всё ли равно?.. Теорию в любом случае мне уже не удастся развить, но так ли уж важна она, в самом деле? К чертям собачьим эту науку вместе с её благами, служением высоким целям и прогрессу человечества!..”

— Что читаете? — из праздного любопытства обратился Северцев к студентке. Она подняла голову, равнодушно взглянула ему в глаза:

— Биохимию.

— А-а... Это какой у вас учебник? Покажите-ка обложку, — попросил он и, взглянув, сказал:

— Я в этом учебнике второй раздел написал.

Он ожидал, что она удивится или обрадуется тому, что встретила одного из авторов, но она, посмотрев его фамилию, указанную под названием раздела, всё так же скучно произнесла:

— Северцев? М-м... Очень приятно.

— Любите науку? — чтобы хоть как-то продолжить разговор, подкинул вопрос Северцев.

— Терпеть не могу, — вызывающе, с развязностью, сказала она и захлопнула учебник. — Мне б только диплом уже получить и свалить отсюда.

— Ну, что ж... Кому что надо, — холодно ответил он и встал. — Всего хорошего.

Идя по коридору, подумал: “Ну, ладно я — в свои пятьдесят два — разочаровался в жизни... Так сказать, и возраст, и неудачи позволяют быть разочарованным. А она-то? Каким-то уже цинизмом веет... Ни желаний, ни надежд. Чёрт-те что!”

В конце ноября погода капризничала: перепалал мокрый снег и быстро таял, потом шёл дождь...

Северцев нашёл в интернете объявление о продаже недорогой дачи в Подмосковье. Он давно копил деньги на загородный домик и теперь загорелся: надо съездить посмотреть. Созвонился с продавцом и поехал.

Дорога заняла два часа.

Но... Гневу и возмущению Северцева не было предела: оказалось, что в городке, вблизи которого стоял посёлок, дружно чадил десяток производственных труб: в небо, дыбясь, поднимались грязно-серые клубы дыма. Да и сама местность была удручающая: пустыри вокруг. Обвинив продавца в умалчивании важных деталей, Северцев даже не стал смотреть дом и отправился обратно в Москву, злой, как волк.

Наспех посмотрел карту и прикинул, что по другой дороге будет короче и быстрее. Но в итоге заехал невесть куда. Вывернул на какой-то просёлочек и вдоль хмурых домов да косых заборов потащился по грязи. Шепча проклятия, решил с ходу проскочить очередную лужу, но сразу почувствовал, что

машина стала вязнуть. Гул мотора становился всё более надсадным, колёса буксовали, брызжа грязью. Северцев выключил мотор и открыл дверцу. Пахнуло холодным ноябрьским воздухом. После противного рёва двигателя навалилась тишина и заявила о себе по-деревенски, по-бабы: “Вот она я!”

Вылез из машины. Башмаки зачавкали в глинистой жиже. Пошёл вдоль заборов. Где-то неохотно покрякивал петух, но Северцеву показалось, что петуху этому было тоскливо от себя самого.

Возле одного дома Северцев увидел трактор “Беларусь”. Посмотрел, нет ли во дворе собаки, и толкнул калитку. Свернул за дом. Там стоял здоровый детина и готовился пилить на чурбаке деревянный брус.

Северцев поздоровался и стал объяснять, что случилось. Мужик, глядя недоверчиво, неохотно выслушал его и махнул рукой: “Трактор не работает...”

— Чего ты брешешь!! — вдруг раздался громкий окрик. Стукнула ставня окошка, и в нём показался старик, худой, с бурым, давно небритым лицом и нервно приседающей на правый глаз косматой бровью. Он адресовал эти слова тому детине, потом обратился к Северцеву:

— Не слушай его. Работает трактор. Заходи.

Северцев поднялся по скрипучим ступенькам, осторожно зашагал по коридору... В доме пахло шами.

За столом сидели старуха, молодая женщина и интеллигентного вида молодой человек, с бородкой и в очках. Старик, бесшумно ступая ногами в шерстяных носках, вышел из другой комнаты и в сердцах сказал гостю, махнув рукой в сторону окна:

— Не слушай ты его: большой лентяй! Я его хоть и воспитывал ремнём, да вот не помогло. Проходи, не стой на пороге... Сейчас поможем, трактор-то на ходу.

Северцев прошёл, сел. Было весьма уютно.

— А я слышу в форточку: врёт, скотина, и глазом не моргнёт... — сказал старик злобно. — Наглец такой...

Обернулся и подал руку Северцеву:

— Будем знакомы? Иван Леонтьич.

— Иван Николаич...

— О-о! Тёзки! Садись, сейчас супа налью...

— Да нет, спасибо, я... — начал было возражать Северцев.

— Да брось! На-ка... — пододвинул тарелку старик.

Северцев, конфузясь, начал есть.

— В Москву едете? — спросила старуха.

— Да.

Глянув на молодого человека в очках, старик тотчас решил, даже не спросив Северцева:

— Ну, и отлично: как раз подкинет тебя, Николай!

И пояснил гостю:

— Это зять мой — Николай, тоже из Москвы. На выходные к нам приехал. Это вот жена моя, а это — золовка...

— Иван Леонтьич, да может быть, человеку неудобно... — тихо возразил Николай. Как бы удивляясь, что вообще могут быть какие-то сомнения, старик быстро наклонился к Северцеву:

— Сможешь его подвезти?

— Ну, конечно! — кивнул Северцев: не мог отказать.

— Ну, и всё... — пожал плечами старик: мол, а я что говорил.

Хлопнула дверь, с улицы вошёл сын старика.

— Глянь на него! — зло проворчал Иван Леонтьич и сухо бросил ему:

— Поди заведи трактор!.. И трос достань! Ну!..

Тот, стрельнув глазом на Северцева, развернулся и хмуро вышел. Вскоре послышался стрекот заводимого мотора...

Через десять минут “Волгу”, всю в грязь, вытащили из лужи.

— А ты тоже умник! — насмешливо сказал Северцеву старик, когда они вышли на улицу. — Попёрся, едрёна мать, по этой дороге... С той стороны деревни нормальная грунтовка есть, там у нас и автобус ходит. Глянь, ма-

шина по уши в дерьме теперь... Сейчас окатим из шланга... Москвичи — все вы такие... Всё в облаках витаете, вашу в душеньку мать...

Через пять минут Северцев и Николай сели в машину. Северцев горячо поблагодарил старика и его сына. Иван Леонтьич наставительно сказал на прощанье:

— Давай, в добрый час! Езжай тут пока по обочине, по траве, а то опять засядешь. Тут недолго, а дальше суше будет...

Поехали.

Когда добрались до трассы, постепенно разговорились. У Николая было доброе, немного наивное выражение лица. По каждому его жесту и движению было заметно, что он человек аккуратный, деликатный, мягкий. Говорил он с лёгкими паузами, как бы всё время проверяя, не надоел ли своей речью собеседнику.

— Приехал вот на выходные к тестю: лекарства привозил... — сказал Николай. — Жена в Москве осталась: с ребёнком сидит... Месяц назад сын родился...

— Поздравляю вас, — ответил Северцев и подумал: “Вот так... А я?”

— А вы кем работаете, если не секрет?

— Биолог. Преподаю в институте.

— Правда? Замечательно. А я писатель. Начинающий, — пожал плечами молодой человек, не зная, как отреагирует Северцев: с уважением или же с иронией, с которой Николаю уже приходилось раньше сталкиваться, поскольку некоторые считали писательство делом чудным, несерьёзным. Но Северцев ответил:

— Редко встретишь писателя. Вы молодец. Что окончили?

— Литинститут.

— А-а... — кивнул он. — Хорошо. О чём пишете?

— Это трудно в двух словах... — засмеялся Николай и замолчал, но потом продолжил: — Я с удовольствием расскажу вам про мою новую повесть...

— Прошу...

— Я описываю героя, который как бы... Ну, понимаете, этот человек... ищет веру...

— А вы сами верите? — быстро спросил Северцев.

— Да. А вы?

— Я учёный... — уклончиво ответил он. — Так что же с этим вашим героем?

— Ах, да... Он ищет веру, но разочаровывается в религии. Потом начинает искать дело всей своей жизни, однако каждый раз понимает, что эти дела — всего лишь ширмы, за которыми он хочет спрятаться от вечности, чтоб она не мучила его своей неизвестностью... И вот он ищет эти смыслы, но не находит, поскольку бегаёт от самого себя... Ну, вот, в общих чертах как-то так. То есть тут не сюжет главное, а внутренний конфликт...

— Очень интересно. Вы очень талантливы, я уверен.

Николай смутился.

Надолго замолчали. Уже начало смеркаться, когда вдали замелькали огни Москвы. Начался дождь, дорога заблестела. Северцев довёз Николая до станции “Выхино”.

Когда тот уже отходил от машины, Северцев опустил стекло и крикнул:

— Николай!

Тот оглянулся растерянно и сделал назад несколько шагов:

— Да?

— А как вы назвали вашу повесть? Вдруг попадётся, я прочту...

— “Мотылёк”!

Северцев не понял смысла заглавия, но кивнул: “Что ж, очень поэтично...”

И уехал.

На исходе выходного дня на дорогах было очень много машин. Северцев долго стоял в заторах и всё думал о смысле названия. Размышлял: мотылёк обычно летит на свет... Что дальше? Ну, летает неровно, как бы по ломам

ной линии... Ну, хрупок, живёт, говорят, недолго... И что? Северцев не улавливал смысла и шептал с досадой: “Чёрт-те что!”

Потом ему стало казаться, что герой повести напоминает чем-то его самого, Северцева. Чем? Он сам так же, как тот персонаж, имеет дело всей жизни: научную теорию. Ну, и что тут плохого? Да, он считает важным для себя науку и музыку... В конце концов, это приносит пользу людям. К чему он ещё стремится? Он хочет создать семью: это нужно каждому человеку...

Но что-то смущало Северцева.

И он вдруг начал понимать, что, объявляя для себя науку, музыку, создание семьи целями, он всего лишь логически выводил их как “достойные смыслы” для своей жизни, которая не должна быть тщетной и пустой. Шёл к исполнению этих смыслов, но не ощущал в них душевной потребности, и поэтому его никогда по-настоящему не заботили ни люди, ни чувства.

И тут снова дохнуло чёрной бездной: как тогда, в парке...

Северцев тяжело вздохнул, сдерживая слёзы. Но потом вдруг разозлился и прошептал в адрес Николая: “А иди-ка ты вместе со своей повестью к чёрту, философ! Умники одни кругом... Мудрецы...”

И гневно сигналил огромному грузовику, который отползал медленно, как черепаха, на другую полосу...